

## СРЕДА И КРОВЬ

### *Импрессия*

Знаешь, я и сам не могу понять, где эта моя среда, место, где мне было бы совсем уютно. То есть не мне, а людям этой крови. Ни на рынке, ни в бане, ни, пожалуй, даже в лесу... Хотя в лесу есть плавное условие моего уюта, о котором я уже догадываюсь, — это одиночество. То есть я не могу понять, где моя среда среди людей.

Я не хочу жить в той, в которой вырос и в которой живешь ты. Я не могу назвать эту среду своей. Она не проникает в меня, она вторична и бесплодна. Она стремится меня усреднить.

Эта среда — твой минский русский. Я не хочу быть до такой степени плоским. Я хочу выше. Я хочу плубже. Но эта среда не может использовать меня для большего, чем я есть.

А я хочу большего, чем могу.

За 200 лет расплзания по этой земле эта среда не создала чего-либо первичного. Из фантастических глубин своего океана она приносила и несет сюда лишь пену прибора.

Но я не хочу...

Знаешь, если я уже только говорю по-белорусски, то я сразу же выделяюсь среди других. Сначала я делал это наперекор нотациям, ведь говорили — не высывайся. Потом я понял, что этого потребовала моя кровь. Это самое плубокое чутье, мотивации которого теряются где-то в космосе. Доказывать бесполезно.

Я могу называть даты, имена, тысячи имен, хоть лучше было бы просто завести тебя в плушь, в прошлое, и испробовать твое чутье, если оно у тебя есть. Ты бы вспомнила

себя рыбкой, белочкой, тараканом и всем, что там еще было в процессе эволюции человека. Достаточно услышать в себе свою кровь.

Мы, люди, находим друг друга по крови. Ты чувствуешь мою кровь? Нет? Значит, мы пройдем мимо друг друга, не оглянувшись. Да? Значит, я буду добиваться тебя. И ты мне ответишь.

В этой среде я могу найти тебя только по крови. Мы наморочим друг друга словами, а объединит нас кровь. Кровь — наша общность. Которая отделит нас от среды. Это как взлет, как переход из плоского состояния в объемное, как...

Ты скажешь: а при чем здесь язык? Язык — это кровь наших предков. Одно дело — пребывать в этой среде, и совсем другое — пропускать через себя поток световых лет.

Минский русский — голос среды. На нем не свяжешь и двух слов правды. Тысячи людей пробовали делать это до нас — напрасно. Потому что среда порождает ложь, а кровь говорит правду и порождает общность, которая становится обществом. Среда — это гиблое болото, в котором плавное — не торчать. Но ты ведь хочешь торчать, правда?

Я знаю, что ты не поверишь мне, как не веришь в метафизику, как не веришь в Бога. Единственное, что для тебя что-либо значит, — это свобода. Но свобода — такое же просто слово, как бог, если в нее не верить.

В этой среде много просто дверей. Не сразу поймешь, за которыми из них — вход. Нужно поверить.

Язык — неприметная дверь. За которой сидит зверь.

Национализм — хищный зверь. Но тебе ведь нравится смотреть, как резвятся на поляне волчата. «Как много в этом жизни! — восклицаешь ты.

Ты ведь хочешь, чтобы было много жизни?

Тебя пугают «издержки», неконтролируемое «зверство». А лучший контроль — свобода. Посмотри, как все более подконтрольными становятся мои слова. Я как будто обмяк от своих принципиальных признаний. И мне остается сделать одно, последнее, вдогонку.

Знаешь, я постепенно сам стал превращаться в свою среду. Еще немного, и я совсем перестану нуждаться в твоей. И конечно же у меня будет больше права на жизнь. Потому что я — океан. Ты — только пена прибоя.

*1996*

## ПИСЬМО К БИОГРАФУ

### *Рассказ*

Уважаемый К. К.!

Получил письмо с вашими вопросами и немного разволновался. Весьма порадовал меня, одинокого старика, ваш молодой энтузиазм, ваш интерес к моей персоне, к судьбе скромного белорусского писателя.

Я мало знаю ваше поколение, не могу назвать себя таким поклонником молодежи, да и наше с вами личное знакомство только предстоит, а вы уж требуете от меня доверительности. Впрочем, я охотно соглашаюсь. Ведь биографов не выбирают. Тем более такие литераторы, как ваш покорный слуга, чей жизненный путь столь же долгов и неотрывен от биографии отечества, сколь скромнен и неприметен. И раз уж вы решились составить мою биографию — я оказываюсь в полной вашей власти. В том смысле, в каком многоопытный наставник оказывается в плену у своего молодого ученика. Надеюсь, вас удовлетворит такое разделение ролей.

Вы удивляетесь моему возрасту. Мне действительно слишком много лет. А чем я объясняю свое долголетие? В какой-то мере наследственностью. Но в большей степени — определенным состоянием духа. Но не ищите прагматичного объяснения. Его нет. Есть взгляды, идеи, которые не стареют. И не стареют благодаря людям, представителям этих взглядов. Время условно, и все, происшедшее в истории, отражается в нашей сегодняшней жизни, все происходит сейчас.

В конце концов, если вам так удобнее, считайте, что я несколько прибавил. Главное то, что и сегодня, в конце XX века, вы можете получить письмо оттуда, из середины XIX.

Итак, вы спрашиваете меня об участии в событиях 1863, а точнее, 1864 года. Понимаю ваш интерес и постараюсь помочь вам. Так сказать, для общего представления. Ибо этот эпизод моей биографии никак не отражен в моем творчестве и вряд ли имеет какую-либо литературоведческую ценность.

Как вы знаете, я больше описывал межвоенный период, первые пятилетки, особое внимание уделял борьбе с религией, много писал для детей. А в последние годы уж и вовсе стал «детским писателем». Словно и не было никогда моих «За подписью дьявола», «Муравейницы»... Сошел, как видите, на нет Микола Батрак — полемист, эпик, драматург. Но всему, наверное, свое время. И сегодня людям больше нужны «Сказки деда Миколы», нежели суровая, реалистичная «Муравейница».

Когда-нибудь потом мы с вами порассуждаем на эту тему, даже подготовим интервью. Ведь вы молоды, и, пока будет длиться работа над монографией, вам нужно как-то устраивать свои дела. А поскольку детская тема у нас — одна из больших, то в журнале охотно возьмут такой материал.

Что же касается 1864 года, то у нас с вами получится скорее житейский, чем литературный, даже, может быть, совсем не для печати разговор.

Я, знаете, вообще никогда не рисковал обращаться к той давней истории и уже, наверное, не рискну. Дело в том, что я не вижу в ней достаточно серьезных и поучительных конфликтов, глубоких проблем, которые бы сохранились и способны были волновать современного человека. Я хорошо помню многие места, факты, даже выражения лиц, но придумывать, «натягивать» несуразные параллели, подобно тому, как это делал покойник Короткевич или делает ваш сверстник Арлов, не могу.

Теперь стало модным увлечение историей. Кто-то даже

сказал, что все забытое повторяется, а значит, мол, ничего, никакую мерзость забывать не следует. И это тоже — мода. Во-первых, потому, что не логично (уж коли забыто, так и не повторится!), во-вторых, сколько хвалы воздано классиками всех времен и народов способности мозга нашего забывать! Именно забывать — мерзкое, пустое, лишнее. А то ведь оно как раз и повторяется.

Именно поэтому, получив ваше письмо, я сразу решил было не отвечать о 1864-м, дабы не повредить вашей работе этим весьма запутанным эпизодом. Даже готов был уже написать, что-де обойдетесь. Но позже подумал: ведь, получив такой ответ, вы тотчас обратитесь к книгам, а книги, знаете ли, оставляют место для суждений. Некий ловкий авторподтасовщик спешит (чтоб выделиться) преступления превратить в подвиги, а подвиги — в преступления. Это же черт знает как интересно! Интересна и модна, почему-то, совсем не историческая правда, но всякая историческая клюква. И начинается из ничего брожение умов. Начитавшись подобной «литературы», уж кто-то хвалит Бонапарта, а кто-то хулит Суворова. «Суворов, — говорит мне один такой “читатель”, — по Беларуси кровью прошел!» Заманчиво ему вот так хлестать кумира скабрзным фактом...

Нет, я не знал лично ни Калиновского, ни Сераковского и т. д. Слишком молод и незначителен был я и для знакомства с графом Муравьевым и другими военачальниками. Однако могу вас заверить, что сегодня это все совершенно другие люди, чем были при жизни. Не одна «переоценка ценностей» прошла по их могилам. Впрочем, не только по их. Взять хотя бы И. В. Сталина. При жизни — отец народов, символ отечества. Не скажу, что без него мы проиграли бы эту войну. К чему крайности?! Но без символа проиграли бы непременно. Однако

стоило ему умереть, как тут же символ этот — в грязь! Вот ведь какая история не в первый раз повторилась. Помнимая история.

Или наоборот. Какой-нибудь Высоцкий. Пока жив был — хам и матерщинник, а умер — народный певец...

Но ведь со смертью своей эти люди никак, ни на йоту не изменились. Калиновский, тот что в земле, — польский сепаратист, Сераковский — дезертир, Муравьев — блюститель высшего интереса, целостности Российского государства, и т. д.

Наверное, если бы каждый хвалящий или бичующий со смертью хвалимого или бичуемого не изменял своего к нему отношения, то это и была бы настоящая историческая правда, которая передавалась бы из поколения в поколение честно, без передергивания, без лжи.

Что же касается меня, то я принимал и принимаю события такими, какими они были. Мне незачем превозносить инсургентов, делать из них революционеров, так как не одни лишь симпатии вызывают они во мне. Однако мне незачем и хаять их. Разве что в искаженном толковании их поступка я вижу дурной пример для сегодняшней молодежи. Мне так же незачем превозносить, как незачем и поливать грязью тогдашнего русского солдата, того самого «москаля». Ибо я слишком хорошо знаю этого служивого, настоящего работягу, который всегда выносил на своих плечах плавную тяжесть всех раздоров и войн.

Кстати, какое-то время у нас с историей так и поступали. Исследовано, определено, оценено — и уж незыблемо. Пустое и лишнее — прочь. Да и не принято было рассказывать историю «своими словами». Иначе какой же прочности это будет фундамент для настоящего и будущего.

А теперь? Вы чувствуете, как заходила земля под ногами?

Все поставлено под сомнение, все неопределенно и шатко: факты, кумиры, сама твердь.

События 1863—1864 годов до последнего времени были мало отражены в популярной литературе. И разве мы не обходились без них?! Но вот сегодня уж и первый, и второй, и пятый раз встречаю я эдакого безусого «косинера», который, начитавшись неизвестно где «Мужицкой правды», выкрикивает националистические лозунги. Это теперь называется борьбой за родную мову. И если бы только юнец! Уж и газеты поднимают какой-то удивительно однобокий, политически близорукий шум о белорусском языке.

Действительно, белорусский язык ушел из общественного употребления как непригодный. Но ведь он не умер, не погиб, нисколько не ущемлен. Наоборот. Наша мова стала достоянием литературы и нескольких ретроспективных наук. В периодике она постепенно превращается в русский язык, и это тоже весьма интересный процесс. Совершенно абсурдной представляется идея навязывания белорусского языка для общественного употребления. Это и в самом деле было бы ущемлением народного интереса.

Не удивительно, что столь же пустой выглядела эта ничем не подкрепленная идея мовы и «самостоятельной Беларуси» в 1864 году. Я сужу хотя бы по крайней малочисленности представителей такой идеи. В основном же те далекие события возникли на почве польского сепаратизма и католической религии. Я не склонен придавать большое значение социальному аспекту, который сегодня особенно популярен в науке, поскольку жил здешний крестьянин (что уж говорить о шляхте) значительно лучше и богаче, обеспеченнее, чем, скажем, наш, серядинский. Серядино, как вы, наверное, знаете из автобиографии, — это имение моей матери, которое



находилось в нынешней Тамбовской области. Теперь это, кажется, центр сельсовета.

Белорусский мужик занимал, как правило, крепкую хату, держал скотину, никогда не голодал, особо не пьянствовал. Зарабатывал неплохо. Тут бы первой взбунтоваться нашему, серядинскому. Но серядинский не бунтовал. Потому как некуда ему было «отделиться». Из такого сравнения я и делаю вывод, что земля и хлеб были в событиях, так сказать, сопутствующими лозунгами. Основой же послужило польское влияние, католицизм.

Тот же Калиновский, в отличие от приписываемых ему в наставники Чернышевского и Герцена, совсем не был атеистом. В отрядах его было много ксендзов, отправлялись религиозные обряды. Подавшемуся в инсургенты совершенно не обязательно было отречься от веры в бога. Наоборот. Свой личный мятеж он мог успешнее оправдать и подкрепить религиозными догмами, чем если бы пошел сражаться против Калиновского.

Развивая эту в корне правильную мысль, вы сделаете для себя, возможно, совершенно неожиданные выводы. Костел целиком служил «косинерам», а церковь — русской армии и русскому государству. И события 1863—1864 годов были не чем иным, как продолжением очень старой религиозной борьбы, спора двух конфессий. Таково мнение очевидца, который в то время не знал еще будущих социальных и национальных толкований.

Дальше больше. Основываясь на библии, костелу было значительно легче оправдать свою политику, нежели церкви. И глас, и перст божьи были гласом и перстом костела, но не церкви. Вот ведь что получается.

Сейчас же предпочитают об этом умалчивать, ибо как выглядела бы «крестьянская революция» нового времени во

главе с боженькой! Все, все пришлось бы поставить на свои места, то есть с головы на ноги. А как выпядели бы называемые сегодня чуть ли не марксистами «революционеры»!

Лично в моей жизни те события сыграли благую роль. В них я раз и навсегда расстался со «своим» богом. Еще совершенно не зная основ научного атеизма, я уже знал, что бога нет. Не стало во мне той веры, которую вдалбливали в меня с малых лет, превращая в существо послушное и зависимое.

Теперь, если вам это интересно, меня, убежденного атеиста, одолевают порой иные сомнения. В минуты особенного одиночества, какого-то прямо торжественного одиночества, сдается мне, что коли я так долговечен, то, может, и совсем уж вне временен? Да, да. Именно. Какое-то растворение происходит во времени, в истории. О таких, как я, между прочим, обычно говорят: человек-легенда. Я, знаете ли, столько познал в жизни, что порой приходит убеждение, что я, Александр Ганебников, сам и есть жизнь! Нет, не подумайте... На трезвость ума я не жалуясь. Да и вниманием не обойден. Хоть бы и вашим. Ведь одним днем живем, одной, так сказать, солью. Все немножко черти...

Однако пора обратиться к делу. Надеюсь, что не совсем утомил вас таким долгим вступлением. Но иначе нельзя. Ведь сегодня, когда события 1863—1864 годов поистерлись в толкованиях, такое вступление необходимо. Теперь же мне предстоит напрячь память и вспомнить весну 1864 года. Как раз тогда я и прибыл в Белоруссию в качестве юнкера российской армии.

Замечу сразу же, что не вдруг я узнал и полюбил этот край. Как не вдруг стал и белорусским писателем Миколой Батраком. Вы, должно быть, знаете, что долгое время я писал свои рассказы в качестве русского писателя. Много позже, когда

стали выходить белорусские газеты, по просьбе редакции одной из них я начал переводить написанное на белорусский язык, что, кстати, делаю и сегодня. Но это уж, так сказать, творческая «кухня», о которой я расскажу вам в другой раз.

Вы спрашиваете о моем дворянском происхождении. Это весьма принципиальный вопрос. Да, я всегда считал и считаю себя русским дворянином. И революцию я принял как дворянин и как дворянин приветствовал. Ибо дворянин, даже если вас это удивит, не есть, по моему убеждению, мерило классовости, но есть мерило чести и благородства. Незачем, думаю, и сегодня стыдиться этого слова, подменять его иностранным «интеллигентом». Смысл-то в них один, а вот преемственность утрачивается. Столь неинтеллигентен был Калиновский, что даже поспешил отречься от своего дворянства. Так оно, конечно, проще. Ведь так — никакой ответственности перед историей и будущим своего народа. Что значит — дворянина повесили? Это словно бы сам народ повесили. А безродного хама вешают неприметно, как kota. Да, хамы всегда были, вкраплялись среди номинальных дворян. Есть они и среди так называемых интеллигентов. Среди творческих, например. Взять хотя бы и наш союз писателей, где хамов всегда хватало и хватает. Но о цехе нашем я расскажу тоже когда-нибудь потом.

Итак, весной 1864 года я прибыл в уездный городок Погост, в котором был расквартирован казачий эскадрон. На дворе стоял март, когда всякий город и пейзаж выглядят малопривлекательно. Остатки снега, грязь, почерневшие строения, свинцовое небо и т. д. Наверное, я тогда не очень обращал на это внимание. Не знал еще, что такое перепады погоды и промозглая сырость. А жизнь в эскадроне бурлила, и я старался участвовать во всем: и в долгих, до утра душевных беседах, и, что греха таить, в лихих казачьих попойках, и в

походах к девкам. Таковы были нравы того времени. Не берусь судить, насколько они изменились.

Уже в первый месяц моего пребывания в Погосте и произошел тот самый эпизод, о котором я все собираюсь рассказать вам, — единственный эпизод моего участия в событиях 1863—1864 годов. Очень может быть, что это был последний эпизод и самих событий. Оттремели бои, кто-то был наказан, остальные разошлись по домам. Многие сами наказали себя бессрочной эмиграцией. Вот в такой обстановке и произошла эта запоздавшая и, в общем, довольно нелепая история.

Подбил людей на выступление, конечно же, католический священник. Но, видимо, настолько никчемная была его идея, что выступление получилось крайне малочисленным. Как раз эти-то и объявили своей целью не хлеб, не свободу и даже не польскую независимость, а белорусскую мову. Нелепость, правда? Но ведь кто знает, какой костер на свежем пепелище мог разжечь этот уголек!

В Погосте я был прикреплен к военному начальнику Саяпину, тогдашней уездной власти. Это был настоящий офицер. Глядя на него, я даже сожалел, что прибыл так поздно, когда все уже утихло и местная жизнь выровнялась.

Народ я нашел тихим и вполне угодливым, каковыми вообще слывут белорусы. Только в казачьих рассказах действовали какие-то местные «абреки», сильные и жестокие, каждая победа над которыми обязательно заканчивалась медалью на солдатской груди. Мне тогда совершенно удивительно было слушать об этом. И вот однажды Саяпин объявил мне, что с ночи предстоит рейд за десять верст в небольшое селение Любиша, где организовался лагерь инсургентов. Из рассказов я уже знал, что «косинеры» всегда